

Аникин Артём

Последний, кто слышит



Аникин Артём
Последний, кто слышит

«Автор»

2026

Артём А.

Последний, кто слышит / А. Артём — «Автор», 2026

Мир оглушён. Стёкла света в ладонях вытравили из людей способность думать всерьёз — а вместе с ней и древнюю силу, что рождалась только из глубины и цены настоящей мысли. Эйвинд — ночной библиотекарь, бессонный, считающий трещины на потолке, всю жизнь уверенный, что в нём что-то сломано. Он не знает, что его изъян — редкий уцелевший внутренний голос. И что за этот голос уже пришли. Два ордена тянут к нему руки. Анахореты, жертвующие цельностью «я» ради медленной силы. Когнаты, покупающие могущество имплантом — ценой собственной человечности. Оба обещают избавить Эйвинда от того, что мучает его сильнее всего: от одиночества и от шума внутри. Но есть и третий путь. Тот, на который не зовут. Тот, который делают шаг за шагом — не зная, что уже идут по нему.

© Артём А., 2026

© Автор, 2026

Аникин Артём

Последний, кто слышит

Артём Аникин
ПОСЛЕДНИЙ, КТО СЛЫШИТ
Книга первая

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Помысел 1

ПРОЛОГ I. Как мир оглох 2

ГЛАВА 1. Помысел 5

ГЛАВА 2. Ночная смена 19

ГЛАВА 3. Анахорет 35

ГЛАВА 4. След 44

ГЛАВА 5. Согласие 56

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Цена 62

ПРОЛОГ II. Цена Сверре 63

ГЛАВА 6. Архитектуры 70

ГЛАВА 7. Первая потеря 81

ГЛАВА 8. Шорткат 89

ГЛАВА 9. Погружение 101

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Порог 114

ПРОЛОГ III. Голос Бальдра 115

ГЛАВА 10. Надлом 121

ГЛАВА 11. Сонм 131

ГЛАВА 12. Две руки 141

ГЛАВА 13. Цена познана 152

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Помысел

ПРОЛОГ I

Как мир оглох

Сначала тишина была общей. Её не замечали. Так не замечают воздух, пока он есть. Человек оставался наедине с собой по сотне раз на дню. В очереди, в дороге, в ожидании, перед сном. В эти промежутки внутри него что-то шевелилось, медленное, иногда тяжёлое, иногда светлое. Он думал. Не для пользы, не для дела просто потому, что иначе не умел. Мысль была не роскошью и не трудом. Она была способом быть.

Потом пришли стёкла света.

Они появились не как завоеватели. Как друзья. Маленькие, тёплые, услужливые. Они умещались в ладони и обещали немного: что человеку больше не придётся скучать. Что ни одна пустая минута не пропадёт зря. Что между ним и любой тишиной всегда найдётся, чем заняться. Люди приняли дар с благодарностью. Ведь тишина внутри бывала и тяжёлой, и страшной, и стыдной, а стёкла света избавляли от неё мягко, без боли, по доброй воле.

И человек перестал оставаться один.

Это случилось не вдруг. Сперва стёкла заполнили только промежутки, те самые щели между делами, где раньше заводилась мысль. Очередь. Дорога. Ожидание. Потом щели расширились. Потом не стало щелей вовсе.

Зачем терпеть пустоту, если её можно отменить движением пальца? Зачем держать в себе долгое и трудное, если короткое и лёгкое всегда под рукой?

Поколение, выросшее со стёклами, уже не помнило, что бывает иначе. Оно не отдавало тишину. Ему нечего было отдавать. Оно родилось без неё, как рождаются без хвоста. Внутренний голос у этих людей не умолкал по их воле. Он просто не заводился. Места, где он мог бы прорасти, были заняты ровным тёплым свечением с той минуты, как они открывали глаза, и до той, как закрывали.

А голос, если его не звать, умолкает. Сначала он зовёт сам. Настойчиво, потом тише, потом совсем редко. Потом не зовёт. У большинства он угас так тихо, что они не заметили потери. Нельзя тосковать по тому, чего никогда не держал в руках.

Так мир оглох. Не от грохота — от удобства. Не насильно — с благодарностью. Думать долго и трудно стало не запретным, а просто невозможным, как невозможно для взрослого вспомнить язык, который он не учил в детстве. А тех немногих, в ком голос отчего-то уцелел, кто всё ещё слышал внутри себя длинное и тяжёлое, их перестали понимать. Им не завидовали. Их жалели. У их состояния находились имена, и ни одно из имён не было добрым. Им предлагали лечение, покой, тишину, которой у них как раз и не было.

Они и сами верили, что больны. Откуда им было знать иначе? Тот, кто слышит, а вокруг не слышит никто, скорее усомнится в себе, чем во всех. Так уцелевшие учились прятать свой слух, стыдиться его, глушить, кто чем умел. Многие преуспевали. Заглушённый голос милосерден: он даёт хозяину сойти за своего.

Их становилось всё меньше. Год за годом, поколение за поколением, всё меньше.

И всё же иногда, реже и реже, но всё ещё, рождается тот, в ком тишину выключить забыли.

ГЛАВА 1

Помысел

Ночь накануне Эйвинд не спал. Это не было новостью. Новостью было бы обратное. Он лежал в темноте и слушал, как работает его собственная голова. Ровно, без остановок. Как чужой мотор за стеной, который нельзя ни выключить, ни попросить потише. Мысли шли не туда, куда он их направлял, а куда хотели сами. Он давно перестал спорить. К четырём утра он знал наизусть трещину на потолке. К пяти пересчитал её дважды и нашёл, что вчера насчитал на одно ответвление меньше. К шести за окном начало сереть, и он встал. Лежать дальше значило думать дальше, а думать дальше он не хотел.

День прошёл, как проходят его дни. Стороной. Он что-то ел, не чувствуя вкуса. Отвечал кому-то, не вслушиваясь. Делал движения человека, у которого есть дела. На самом деле дел не было. До ночной смены оставались часы, и часы эти надо было куда-то деть. А девать их Эйвинд умел только одним способом: уйти туда, где много людей, и попробовать стать одним из них.

Парк он выбрал не случайно. В парке люди были тихие, рассеянные, занятые своими стёклами. И от их спокойствия, надеялся он, что-то могло перепасть и ему. Так греются у чужого костра. Он сел на скамью, смотрел на воду, дышал ровно и ждал, когда чужой покой просочится внутрь и заглушит наконец этот ровный, неумолкающий гул, который он с детства принимал за свою поломку.

Никогда не просачивался. Но Эйвинд приходил снова. Не потому, что верил, а потому, что больше идти было некуда. Человек возвращается к тому, что не помогает, если ничего другого ему не дали.

В тот день он пришёл, как всегда, заранее. Сел, как всегда, у фонтана. И начал, как всегда, считать.

Считать он начинал не нарочно. Счёт приходил сам, как приходит привычка дышать ртом у того, кто давно не дышит носом. Глаза находили что-нибудь однообразное и множасьее, и ум брался за дело, которым его никто не нагружал. Сегодня это были затылки.

Парк был полон людей, и ни одного лица.

Эйвинд сидел на скамье у фонтана и считал затылки, склонённые к экранам. Сорок один человек. Сорок два, если считать ребёнка, который тоже смотрел не на воду, а в планшет, где вода была ярче и не пахла прелым.

Был тот неопределённый час между обедом и вечером, когда город не работает и не отдыхает, а просто длится. Солнце стояло низко и тёплое, фонтан шумел ровно, как шумит то, на что давно перестали смотреть. Хорошее место, чтобы быть как все. Эйвинд приходил сюда именно за этим — за чужим спокойствием, в котором надеялся раствориться, как растворялись остальные. Не получалось никогда. Не получилось и теперь.

Тогда и пришёл голос.

Сперва Эйвинд решил, что ослышался. Он даже обернулся, коротко, по привычке искать у звука источник. Источника не было. И тогда он понял, что звука тоже не было. Голос не прозвучал. Звук Эйвинд бы пережил, звук имел бы направление, причину. Голос проступил, как проступает текст на запотевшем стекле, изнутри, с той стороны, где не должно было быть никого, кроме него самого. Глубокий, спокойный, без спешки.

Ты слышишь меня. Хорошо. Большинство уже не способны.

Эйвинд сжал колени ладонями. Первым желанием было отмахнуться. Усталость, недосып, третьи сутки без нормального сна, мало ли что мерещится голове, которую не выключали столько ночей подряд. Он держался за это объяснение, сколько мог. Объяснение не держало.

Тогда пришло второе, и оно было хуже. Логично, подумал он, цепляясь за слово, как за поручень. Логично, что это случилось именно так, буднично, на скамейке, среди бела дня. Он всегда знал, что однажды что-то внутри даст трещину. Слишком долго оно гудело там, неназванное, мешая спать, мешая держать разговор дольше двух минут, мешая быть как эти сорок с лишним спокойных тел вокруг. Вот и дало. Голоса в голове. У этого даже есть название, и название это не сулило ему ни больницы получше, ни сочувствия подороже.

Он сделал то, что делают все: достал телефон. Уставился в тёмный прямоугольник, в котором отражалось его собственное лицо, узкое, с тенями под глазами, не выспавшееся уже которую неделю. Жест был рефлекторный, защитный. Так делают вид, что заняты. Так прячутся.

Не помогает, правда? — сказал голос, и в нём шевельнулось что-то почти похожее на усталую насмешку. *Ты держишь в руке коробку, которая придумана, чтобы тебе никогда не пришлось остаться наедине с собственной мыслью. И всё равно остался. Любопытно, да? Им всем помогает. Тебе — нет.*

— Я не разговариваю сам с собой, — сказал Эйвинд. Тихо, одними губами, в телефон, как будто это что-то меняло.

Разумеется, нет. Ты разговариваешь со мной. Просто тебе пока удобнее думать иначе. Пауза, в которую уместилась чужая, нечеловеческая выдержка. Ты думаешь, что болен. Это естественно. Тебя всю жизнь учили, что тишина внутри — норма, а всё остальное — симптом, который лечат. Удобная ложь, и почти все в неё поверили. Оглянись. Только медленно.

Эйвинд не хотел оглядываться. Он оглянулся.

Сорок с лишним человек, и каждый утоплен в свой светящийся прямоугольник, и ни в одном лице ни искры того, что сейчас раздирало его самого изнутри. Девушка у клумбы листала ленту большим пальцем, и палец двигался сам, без неё, как лапка спящего животного. Мужчина в костюме говорил в наушник слова, которых не выбирал. Двое подростков сидели

рядом и не разговаривали. Каждый был в другом месте, далеко, у себя. Все они были спокойны. Все были пусты той безмятежной пустотой, которой Эйвинд завидовал всю жизнь и которой не сумел достичь ни разу.

И впервые за двадцать с лишним лет неловкости, бессонниц и стыда за то, что он не такой, ему пришло в голову, что, может быть, дело не в том, что он сломан. Впервые.

А в том, что он единственный здесь, в ком ещё что-то не выключили.

Мысль была настолько чужой и настолько его, что затошнило. Он опустил голову между колен и дышал, считая вдохи, потому что считать было привычно, а привычное держало.

«Вот», — сказал голос мягко, почти бережно. Вот оно. То самое, что ты принял за болезнь. Поддержи его ещё немного, не отпускай. Знаю, что больно. Глубина всегда сначала больна.

Когда Эйвинд поднял голову, на другом конце аллеи со скамьи поднимался человек.

Немолодой, в сером, незаметный. Из тех, кого взгляд пропускает, как пропускает фонарный столб или урну. Серое пальто не по сезону. Лицо, которое не за что зацепиться, кроме глаз. Глаза смотрели прямо на Эйвинда, через весь парк, через все сорок с лишним опущенных затылков. Не так, как смотрят на сумасшедшего, который бормочет у фонтана в свой телефон. А так, как смотрят на того, кого долго искали и наконец узнали.

А. В голосе впервые дрогнуло что-то живое. Не теплота, на теплоту он, кажется, был уже не способен, но узнавание. *Прости за вторжение. Я редко делаю это сам, поверь. Это грубо и оставляет следы — на тебе и на мне. Но тебя я не мог упустить. Таких, как ты, почти не осталось, мальчик. А те, что есть, обычно успевают сойти с ума прежде, чем я успеваю дойти.*

Человек шёл к нему через толпу, и толпа его не замечала. Девушка с лентой посторонилась, не подняв глаз. Костюм с наушником обогнул его, не прервав разговора с пустотой. Никто не видел. Шёл он медленно, чуть приволакивая ногу, и в этой усталой, изношенной походке было больше тяжести, чем в любом голосе.

Эйвинд остался сидеть. Бежать он умел всю жизнь. От разговоров, от тишины, от себя. Но впервые за всё это время кто-то шёл к нему *за* тем, что в нём было, а не вопреки этому. И этого хватило, чтобы остаться.



Человек подошёл и сел рядом, не слишком близко, оставив между ними ровно столько места, сколько оставляют для чужого, которого собираются сделать своим. От него пахло

холодным табаком и бумагой. Несколько секунд он молчал, глядя на фонтан вместе с Эйвиндом, как будто им было что обсудить и без слов.

— Меня зовут Сверре, — сказал он наконец. Вслух. Голос снаружи оказался тише и старше, чем внутри. — И я должен извиниться дважды. Один раз — за то, что влез в твою голову без спроса. — Он помолчал. — А второй — заранее. За всё, что будет дальше. Потому что теперь, когда ты знаешь, что не болен, тебе, боюсь, будет уже не отвертеться.

Фонтан шумел. Сорок с лишним человек смотрели в свои экраны и были счастливы.

— Отвертеться от чего? — спросил Эйвинд.

Сверре посмотрел на него почти с жалостью.

— От того, чтобы думать, — сказал он. — По-настоящему. До конца. Это, мальчик, гораздо хуже, чем кажется.

Несколько секунд он сидел молча, давая словам осесть. Фонтан поднимал и ронял воду. Потом, словно решив, что осели достаточно, Сверре упёрся ладонями в колени и стал подниматься.

Встал он не сразу и не легко. Тело распрямлялось медленно, по частям, как разгружают то, что слишком долго стояло согнутым.

— Идём, — сказал он. — Здесь больше нечего делать. Ты уже услышал главное.

Эйвинд встал тоже. Ноги держали плохо. Парк качнулся и встал обратно.

— Куда?

— Никуда. Просто идти. — Сверре кивнул на аллею. — Сидя ты будешь цепляться за скамью, за фонтан, за сорок затылков. За всё, что говорит тебе: ты прежний, ничего не случилось. На ходу цепляться не за что. На ходу легче поверить.

Они пошли. Сверре приволакивал ногу, и Эйвинд незаметно для себя сбавил шаг под чужой, рваный ритм. Так подстраиваются под больного. Или под старшего.

Аллея вытекала из парка к улице. Люди шли навстречу, обтекали их, не поднимая глаз. Никто не смотрел на старика в сером не по сезону пальто. Никто не смотрел на бледного парня, который шёл рядом с пустым местом. Для всех вокруг Сверре был именно пустым местом.

— Они правда тебя не видят, — сказал Эйвинд. Не вопрос. Проверка.

— Видят. Глаза работают. — Сверре смотрел вперёд. — Просто им нечем меня заметить. Заметить — это маленькая работа ума. Удержать чужое лицо лишнюю секунду, спросить себя, кто это. Они давно разучились делать лишнее. Я не прячусь, мальчик. Я просто не стою той секунды, которой у них нет.

— А я стою?

— Ты — да. — Старик не обернулся, но в голосе что-то дрогнуло. — Ты только что потратил на меня не секунду. Ты потратил всё.

Они вышли за ограду. Город принял их ровным гулом, к которому Эйвинд привык, как привыкают к собственной крови в ушах. Машины, чужая музыка из открытого окна, шаги. И поверх всего то самое, что осталось после голоса. Не голос. След голоса. Место, где он только что был, ныло, как ноет десна на месте вырванного зуба.

— Оно вернётся? — спросил Эйвинд. — То, как... как сейчас. Когда я оглянулся и понял про них.

— Если будешь его звать — да.

— А если не буду?

Сверре остановился. Посмотрел на него своим одним глазом, и второй, белёсый, тоже как будто посмотрел. Не наружу, внутрь, туда, где у Эйвинда что-то ещё дрожало после пережитого.

— Не будешь, — сказал он. — Уже не сможешь не звать. В этом и беда. Я не открыл тебе дверь, мальчик. Дверь была открыта всегда. Я просто сказал тебе, что за ней не чулан с

твоим безумием. За ней комната. И теперь ты знаешь про комнату. Незнание — единственный замок, который на ней был.

Они шли дальше. Эйвинд молчал, и в молчании ум его, оставленный без присмотра, делал то, что делал всегда. Искал, за что зацепиться. Усталость давила на глаза. Всё вокруг расплывалось и теряло край, и только одно держалось в нём отчётливо: фонтан, оставшийся за спиной. Вода, поднятая и падающая, поднятая и падающая. Он держал её перед внутренним взглядом, потому что хотел за что-то держаться, а фонтан был последним, что он видел спокойным.

Он держал. И не заметил, как стал держать слишком крепко.

И в какой-то миг вода в его голове встала. Не замёрзла, не иссякла. Просто остановилась, каждая капля на своём месте, в воздухе, навсегда, как муха в янтаре. Он видел их все разом. Он держал их все разом. Это не стоило усилия. Это было легко, отвратительно легко, как будто всю жизнь он делал это во сне и только сейчас проснулся с этим в руках.

А потом легко кончилось.

Образ не отпускал его. Это он держал воду — теперь вода держала его. Он потянулся разжать хватку и не нашёл руки, которой держал. Не нашёл и того, чья это рука. На один глухой провал не стало ни фонтана, ни улицы, ни имени, которым его звали с рождения. Осталась только застывшая вода и кто-то при ней, безымянный, кто смотрел и не мог вспомнить, зачем смотрит и кто смотрит. Он не падал в обморок. Хуже. Он на миг забыл, что есть кому падать.

Потом капли пошли вниз. Фонтан в голове рухнул. И вместе с водой вернулось имя, и улица, и чужая рука у него на локте, державшая крепко.

Эйвинд стоял, привалившись к фонарному столбу, и не помнил, как до него дошёл. Сверре держал его за локоть. Лицо старика было совсем близко.

— ...назад. Слышишь меня? Назови своё имя. Вслух.

— Эйвинд, — сказал он. И испугался того, как обрадовался простому слову. Как будто вытащил его из воды.

— Ещё раз.

— Эйвинд. Меня зовут Эйвинд.

— Хорошо. — Сверре не отпускал локоть. — Сколько тебя не было?

— Я... я никуда не уходил. Я держал фонтан. В голове. Он остановился. — Эйвинд провёл языком по нёбу. Сухо. — Сколько меня не было?

— Минуту. Может, меньше. Ты стоял и смотрел сквозь меня, и тебя в тебе не было. — Старик говорил ровно. Слишком ровно. Так держат ровным голос над тем, что очень хочется уронить. — Я звал. Ты не слышал. Тебе некому было слышать.

Холод прошёл по Эйвинду снизу вверх. Не страх перед болью. Страх другой породы, которому он не сразу нашёл имя: он только что куда-то делся из самого себя и не заметил этого изнутри. Заметить было нечем.

— Что это было, — сказал он. Тоже не вопрос. На вопрос не хватило воздуха.

Сверре наконец отпустил локоть. Отступил на шаг, разглядывая его, и в лице старика не было ни усталости, ни иронии. Было то, чего Эйвинд от него ещё не видел и чему, увидев, не сразу поверил.

Это был страх.

— То, что ты сейчас сделал, не делают на первой неделе, — сказал Сверре. — И на первом годе не делают. Это делают через десять лет дисциплины или не делают вовсе. Удержать образ целиком, неподвижным, без единой техники, без зова, без меня рядом. У меня на это ушла половина жизни. У тебя ушло меньше минуты и столб, чтобы не упасть.

— Но я же справился. — Облегчение всё ещё искало выход, цеплялось за что попало. — Я вернулся. Если получается так легко...

— Ты не вернулся. Тебя вернули. — Сверре сказал это без нажима, и оттого вышло страшнее. — Я стоял рядом и звал. А если бы не стоял? Кто позвал бы тебя обратно из остановленной воды? Ты сам? Тебя там не было. Некому было хотеть вернуться.

Эйвинд молчал. Сухость во рту вдруг получила объяснение, и от объяснения стало холодно.

— Сила не бывает бесплатной, — сказал старик тише. — Она всегда взята в долг. Те десять лет, которых у тебя не было, это не зря потраченное время. Это рассрочка. Десять лет ты платил бы понемногу и научился бы платить, не разоряясь, не теряя себя за каждый образ. А ты взял всю сумму сразу. Сегодня. На улице. Ради остановленной воды, которая тебе была не нужна. — Он помолчал. — Долг придёт. Он всегда приходит. Вопрос только, останется ли к тому времени тот, с кого спросить.

Они стояли. Город гудел вокруг, не зная и не желая знать, что один из сорока с лишним только что на минуту перестал быть.

— Идём, — сказал Сверре, и голос его смягчился. — Тебе нужно сесть, поесть и не думать. Последнее у тебя выйдет хуже всего, знаю. Но попробуй.

Они двинулись дальше. Эйвинд шёл и впервые в жизни прислушивался не к гулу в голове, а к самому факту, что есть кому прислушиваться. Что он на месте. Что вода больше не держит. Он не знал, что это и есть первый урок, и что урок этот он сдал прежде, чем Сверре успел его дать.

И когда сворачивали за угол, Сверре, не глядя на Эйвинда и будто между прочим, сказал:

— И ещё одно. С этой минуты не только те, кто желает тебе добра, станут смотреть на тебя ту лишнюю секунду. Ты начал светиться, мальчик. В мире, где все погасли, это видно издали.

— Кто? — Эйвинд остановился. — Кто ещё смотрит?

Сверре не ответил сразу. Он сделал ещё несколько шагов, прежде чем заговорить, и заговорил не оборачиваясь, как говорят то, что предпочли бы не говорить вовсе.

— Не сегодня, — сказал он. — Ты сегодня уже узнал, что не болен, и узнал, чем за это платят. Хватит на один день. Имена подождут до завтра. Кое-какие имена, узнав, уже не разучишься бояться.

И пошёл дальше, приволакивая ногу. Вопрос остался стоять между ними, на месте, как остаётся стоять человек, которого не дождались. Эйвинду пришлось догонять, и сам этот короткий рывок, два торопливых шага за тем, кто не оборачивается, сказал ему о его новом положении больше, чем все слова до того.

Город гудел. Где-то падала и поднималась вода, которой никто не держал.

ГЛАВА 2

Ночная смена

Библиотека ночью принадлежала ему одному, и Эйвинд любил её за это больше всего на свете.

Он пришёл за час до смены, как всегда. Сменщик ушёл, едва кивнув, уже на ходу втыкаясь в своё стекло света, — днём здесь сидела девушка, имени которой Эйвинд так и не запомнил, потому что запоминать было нечего. Она выдавала книги, не глядя на корешки, и смотрела в экран под стойкой все восемь часов, и книги были для неё тем же, чем для остальных, — предметами, которые зачем-то полагалось держать на полках. Эйвинд её не осуждал. Он просто радовался, когда она уходила.

Потому что тогда начиналась тишина.

Не та тишина, что снаружи. Снаружи тишины не было вовсе — там был ровный гул, в котором тонуло всё, и человек тонул вместе со звуком. Здесь тишина была другой породы. Плотной. Населённой. Эйвинд однажды попробовал объяснить это себе и не сумел, а с тех

пор перестал пробовать и просто пользовался. Полки стояли от пола до потолка, ряд за рядом, и в каждой книге кто-то когда-то думал долго и трудно, думал по-настоящему, до конца, и складывал передуманное в слова. Тысячи людей, многих давно не было на свете. И всё, что они выдумали в своей нестерпимой тишине, осталось здесь, законсервированное, как осталась бы их кровь, сумей кто перелить её в стекло.

Эйвинд не читал всего этого. Он не был так начитан, как думали о нём те немногие, кто вообще о нём думал. Он просто сидел среди этого. Грелся. Среди людей в парке ему было холодно, среди людей в книгах — тепло, и долгие годы он не задавался вопросом, почему мёртвые греют его лучше живых. Теперь он, кажется, начинал понимать. И понимание это было из тех, что лучше бы не приходили.

Прошло три дня с парка. Три дня, три ночи — и ни одной минуты сна.

Это пугало бы его сильнее, если бы прежде он спал хорошо. Но Эйвинд не помнил, когда спал хорошо. Бессонница была старой его спутницей, такой давней, что он перестал считать её болезнью и считал просто собой. Раньше она приходила и уходила. Теперь не уходила вовсе. После той минуты у фонарного столба, когда вода в его голове встала и он на миг перестал быть, что-то сдвинулось в самом устройстве его ночей. Он закрывал глаза — и видел капли, висящие в воздухе, каждую на своём месте. Он гнал их. Они возвращались. Ум, однажды узнавший, как это делается, не хотел разучиваться. Он нашёл новую игрушку и тянулся к ней, как тянется язык к больному зубу, — само, против воли, снова и снова.

Сверре сказал: долг придёт. Он всегда приходит. Эйвинд тогда не понял до конца. Теперь понимал так: ему дали потрогать, как это легко, и не сказали, что трогать придётся всю оставшуюся жизнь, и каждое прикосновение — взаимны.

Он сел за стойку, включил лампу. Маленький жёлтый круг на тёмном дереве. За кругом — полки, уходящие во тьму, и в этой тьме Эйвинд впервые за все годы поймал себя на том, что ему неуютно. Раньше тьма меж полок была обжитой. Сегодня в ней что-то стояло. Не враждебное. Просто стоящее, как стоит мысль, которую ты не звал.

Он стал работать, чтобы не думать. Расставил возвращённое за день, переписал две карточки, проверил отопление в дальнем зале. Работа была глупая и привычная, и в этой глупой привычности было спасение. Руки знали, что делать, и пока руки делали, голова почти молчала.

Почти.

В половине двенадцатого пришёл старик.

Старик приходил всегда. Эйвинд знал его дольше, чем кого-либо из живых, и при этом не знал о нём почти ничего — ни имени, ни откуда тот берётся в этот неурочный час, ни зачем. Старик был из тех немногих, кто ещё ходил в библиотеку за книгами, а не за тем, чтобы переждать дождь. Он приходил поздно, к закрытию читального зала, выбирал что-нибудь толстое, садился под зелёной лампой в углу и читал, шевеля губами, до самого утра. Иногда засыпал над страницей. Тогда Эйвинд накрывал его своим пальто и не будил.

— Добрый вечер, — сказал старик. Голос у него был тихий, надтреснутый, как у всех, кто говорит мало. — Я вам не помешаю?

— Никогда не мешали.

Это была правда. Старик был единственным человеком, чьё присутствие Эйвинда не тяготило. Может, потому, что старик тоже молчал. Может, потому, что между ними давно установилось то редкое родство, которое не требует слов и портится от них. Они были два чужака в мире, и каждый узнавал в другом чужака, и этого хватало.

Старик прошёл к полкам — медленно, ведя пальцем по корешкам, не читая названий, а словно ощупывая. Эйвинд смотрел на него и впервые видел его иначе, чем прежде. Раньше он видел старика, который любит книги. Теперь — после парка, после голоса, после слов Сверре про тех, в ком тишину выключить забыли, — он видел что-то ещё, и видеть это было больно.

Старик искал в книгах то же, что искал Эйвинд. Тепло. Чужую глубокую мысль, которой не находил в себе. Но между ними была разница, и разница эта медленно проступала перед Эйвиндом, как проступил когда-то голос на запотевшем стекле. В Эйвинде тишина была. Гудела, мешала, мучила — но была. А в старике её уже не было. Было только место, где она когда-то жила, и тоска по этому месту, и старик ходил вдоль полок и грелся у чужого огня, потому что свой давно угас, а он этого даже не знал. Он не знал, что когда-то слышал. Он знал только, что чего-то ему не хватает, всю жизнь не хватает, и название этой нехватке он подобрать не мог, сколько ни жил.

— Вы что-то рано сегодня бледный, — сказал старик, не оборачиваясь. — Не болеете?

— Не сплю.

— А. — Старик снял с полки том, взвесил в руке, поставил обратно. — Я в ваши годы тоже не спал. Думал, болезнь. Лечился даже. — Он усмехнулся чему-то своему, давнему. — А это, знаете, не лечится. Это просто проходит само. С возрастом. Перестаёшь... — он искал слово, не нашёл, махнул рукой. — Перестаёшь. И спишь потом прекрасно. Так что вы не переживайте. Пройдёт и у вас.

Он сказал это в утешение. Он не знал, что говорит. И Эйвинд, глядя в его спокойное, доброе, угасшее лицо, вдруг похолодел, потому что услышал в стариковском «пройдёт» совсем не то, что старик вложил.

«Пройдёт» означало: однажды ты перестанешь слышать. Однажды место, где у тебя гудит, опустеет, и ты будешь спать прекрасно, как спят сорок затылков, как спит этот старик, доживший до покоя ценой того единственного, что делало его собой. И ты этого даже не заметишь. Нельзя тосковать по тому, чего больше не держишь в руках. Можно только смутно чувствовать, что рук стало меньше.

— Я не хочу, чтобы прошло, — сказал Эйвинд. Тихо. Скорее себе.

Старик обернулся, посмотрел на него с лёгким удивлением — и в этом удивлении мелькнуло вдруг что-то другое. Зависть, не зависть. Узнавание чего-то, что сам он давно потерял и не мог вспомнить, что именно.

— Чудак вы, — сказал старик мягко. И ушёл со своим томом в угол, под зелёную лампу.

Эйвинд остался за стойкой и впервые в жизни смотрел на тихого старика с книгой не как на родную душу, а как на предупреждение.

Сверре пришёл около двух.

Он не открывал дверь — Эйвинд готов был поклясться, что слышал бы. Он просто оказался в зале, между стеллажами, в своём сером пальто не по сезону, и стоял там, разглядывая корешки одним живым глазом, точно так же, как полчаса назад их разглядывал старик. И Эйвинда резануло сходство и тут же — разница. Старик ощупывал книги, ища тепло. Сверре смотрел на них, как смотрят на знакомых, которых пережили.

— Хорошее место, — сказал Сверре, не здороваясь. — Я так и думал, что ты прячешься где-то в таком. Где ещё уцелеть нашему брату. — Он провёл пальцем по корешку, как старик, но без стариковской нежности. — Тишина, набитая чужой мыслью. Ты грелся тут, верно? Годами. Не зная, что греешься у того же огня, что палит тебя самого.

— Откуда вы...

— Я не читаю мыслей, мальчик, если ты об этом. — Сверре подошёл, сел напротив стойки, в кресло для посетителей, и Эйвинд снова увидел, как трудно даётся ему всякое движение. — В парке — да, влез. Это другое и редкое, я объяснял. А так — нет. Я просто прожил то же, что проживаешь ты, только раньше. Угадать нетрудно. Все мы прятались в библиотеках, пока библиотеки были. — Он обвёл зал взглядом. — Их всё меньше. Скоро прятаться будет нигде.

Он замолчал, разглядывая Эйвинда. Эйвинд под этим взглядом чувствовал себя как книга, которую читают, не спрашивая.

— Ты не спишь, — сказал наконец Сверре. Не вопрос.

— Третьи сутки.

— И держишь воду. Закрываешь глаза — и она тут.

Эйвинд молчал. Молчание было ответом.

— Этого я и боялся. — Сверре потёр лицо ладонью, и жест вышел очень человеческий, очень усталый. — Слушай меня внимательно, потому что это первое, чему я должен тебя научить, и оно важнее всего, что будет потом. Важнее любой силы. Ты думаешь, я пришёл учить тебя думать глубже. Держать дольше. Делать то, что ты сделал у столба, но нарочно и сильнее. — Он покачал головой. — Нет. Этому тебя учить не надо. Ты уже умеешь — умеешь так, как не должен бы уметь никто на третий день. В этом и беда. Я пришёл учить тебя обратному. Отпускать.

— Отпускать.

— Останавливать. — Сверре подался вперёд. — Вода у тебя в голове встала сама, без спросу. И не уходит, верно? Стоит и держит тебя. Ты не отпустил её там, у столба, — её отпустил я, позвав тебя по имени. А меня рядом не будет всякий раз. Если ты не научишься разжимать хватку сам, рано или поздно ты сожмёшь что-нибудь и не разожмёшь уже никогда. И останешься там, внутри, при своей остановленной воде. Навсегда. Понимаешь?

Эйвинд понимал. Холод снова прошёл снизу вверх — тот самый, у столба.

— Как? — спросил он. — Как отпускать?

— Смотри.

Сверре взял со стойки карандаш. Простой, жёлтый, обкусанный с одного конца — Эйвинд грыз их по ночам, не замечая.

— Не делай ничего трудного, — сказал Сверре. — Трудное ты и так умеешь, в этом всё горе. Возьми что-нибудь маленькое и глупое. Этот карандаш. Подержи его в уме. Не воду, не фонтан, не образ на полстраницы. Просто карандаш. Видишь его?

— Вижу.

— Держи. — Сверре положил карандаш на стойку. — А теперь, не выпуская из головы, медленно отпусти. Не отвлекись на другое — это бегство, ты мастер бегства, я знаю. Отпустить — не сбежать. Отпустить — это посмотреть на мысль и решить, что с ней закончено. Самому. Положить её, как кладут вещь на место. Попробуй.

Эйвинд закрыл глаза.

Карандаш встал перед внутренним взглядом сразу, охотно, со всей жуткой лёгкостью, с какой вставало теперь всё, за что брался его ум. Жёлтый. Обкусанный. Эйвинд видел даже след зуба на краске, вмятину, которую сам же оставил. Он держал. Держать было нетрудно — нетрудно было до отворачивания, и в этой лёгкости пряталась ловушка, он уже знал.

А теперь — отпустить.

Он попробовал. И понял, что не умеет.

Карандаш не отпускался. Эйвинд тянул внимание прочь — карандаш тянулся следом, как намагниченный. Он пробовал думать о другом — старик, лампа, Сверре напротив, — но это было то самое бегство, и карандаш никуда не девался, он просто ждал в стороне, целый, готовый, и стоило ослабить — придвигался снова. Эйвинд начал понимать, в чём ужас. Сжать он умел. Разжать — нет. Рука была, хватка была, а команды «разжать» в нём не оказалось вовсе, словно её забыли вложить.

— Не могу, — сказал он, открыв глаза. На лбу выступил пот. — Он не уходит.

— Знаю. — Сверре смотрел на него без удивления, но и без насмешки. — Сжимать легко. Тебе — особенно легко. Это твой дар и твоя погибель в одном. А разжимать никто не родится умея. Этому учатся. Долго. — Он забрал карандаш, повертел в пальцах. — Смотри иначе. Ты держишь карандаш не рукой. Рукой ты бы устал и выпустил сам. Ты держишь его... — он искал, — вниманием. А внимание не устаёт. В этом всё. Оно может держать вечно и

не заметить, что давно пора отпустить. Поэтому отпускать нужно решением, а не усталостью. Скажи ему: довольно. Не отвлекись — отпусти. Это разные вещи. Закрой глаза.

Эйвинд закрыл.

Карандаш. Жёлтый, обкусанный, вмятина от зуба.

— Держишь?

— Держу.

— А теперь не убегай от него. Остайся с ним. И, оставаясь, скажи: я тебя видел. Мне больше не нужно. Иди.

И Эйвинд — неловко, впервые, как ребёнок, который впервые слушает не «беги», а «стой и отпусти», — посмотрел на карандаш внутри себя прямо, не отворачиваясь. Посмотрел и сказал ему, без слов, одним усилием той мышцы, которой в нём будто и не было до этой минуты: довольно. Я видел тебя. Иди.

Карандаш дрогнул. И погас. Не уплыл, не забылся — погас, мягко, как гасят лампу, оставив после себя тёплую темноту, в которой ничего больше не висело.

Эйвинд открыл глаза. И заплакал бы, не разучись он плакать давным-давно, потому что впервые за три дня в голове у него было пусто. Не глухо. Пусто и тихо, и тишина эта была его, выбранная им, отпущенная им. Он сам положил мысль на место. Первый раз в жизни.

— Вот, — сказал Сверре тихо. — Вот этому я и пришёл тебя учить. Не хватать. Хватать ты умеешь. Отпускать.

— Я думал... — Эйвинд провёл ладонью по лицу. — Я всю жизнь думал, что я просто... бракованный. Что у меня в голове слишком много и не туда. Что нормальные люди умеют не думать, а я нет.

— Ты не бракованный. — Сверре сказал это ровно, без утешения, и оттого Эйвинд поверил. — Ты заточен под одно и совсем не заточен под другое. Глубина и поверхность — разные мышцы, мальчик. Те сорок затылков в парке — у них развита поверхность. Они умеют скользить, не цепляясь, и держаться в потоке с другими, и проводить день, ни разу не утонув в одной мысли. У тебя эта мышца не выросла. Зато выросла другая, которой у них нет вовсе. Ты можешь нырнуть так глубоко, что не вернёшься. Они тонут на мелководье, ты — в бездне. Вот и вся разница. Ты не хуже их устроен. Ты устроен для другого века — для того, где умение нырять ещё чего-то стоило. — Он помолчал. — Тебе просто не повезло родиться в этом.

Они помолчали вместе. В углу, под зелёной лампой, спал над книгой старик. Эйвинд посмотрел на него и снова ощутил тот холод.

— А он? — спросил Эйвинд тихо. — Он тоже... из наших? Из тех, кто слышит?

Сверре проследил его взгляд. Долго смотрел на старика, и в живом глазу его было что-то, чего Эйвинд не сумел прочесть.

— Слышал, — сказал Сверре наконец. — Когда-то. Давно. — Он отвернулся. — Теперь нет. Угас, не зная, что в нём было чему гаснуть. Так бывает с большинством из тех немногих. Голос зовёт, его не понимают, он зовёт тише, потом совсем тихо, потом умолкает. И человек доживает в покое, и сам не знает, что покой этот — могила. — Сверре поднялся, тяжело, по частям. — Он счастливее нас с тобой, мальчик. Запомни это, когда станет совсем худо. Он своё отслушал и забыл. А мы с тобой будем слышать до конца.

Он пошёл к выходу — и у самых стеллажей обернулся.

— Тренируй карандаш, — сказал он. — Каждую ночь. Бери мысль помельче и отпускай, отпускай, пока не станет привычкой. Это скучно. Это спасёт тебе жизнь куда вернее, чем всё, чему я научу тебя дальше. — Тень усмешки. — Сильным ты станешь сам, я уже вижу. Слишком быстро станешь. Моё дело — успеть научить тебя оставаться при этом собой. Если успею.

И его не стало в зале — так же, как он появился, без двери, без шагов.

Эйвинд остался один.

Под зелёной лампой спал старик. За окнами стоял ровный гул погасшего мира. А вокруг, от пола до потолка, рядами уходили во тьму полки, набитые чужой законсервированной тишиной, и впервые за все годы Эйвинд сидел среди них и не грелся.

Потому что теперь он знал, что это за тишина.

Раньше он приходил сюда, как приходят в тёплый дом. Прятался среди мёртвых мыслей от живой пустоты снаружи. Думал, что библиотека — его убежище, единственное место на свете, где ему хорошо. И вот он сидел в этом убежище, и оно было прежним — те же полки, та же лампа, тот же спящий старик, — а ему было не хорошо. Ему было страшно.

Потому что убежище оказалось не домом. Оно оказалось камерой. Очень тихой, очень тёплой, заставленной книгами камерой, куда он сам себя запер задолго до того, как узнал слово «маг», задолго до Сверре, до голоса, до парка. Всю жизнь он сидел здесь и грелся, и думал, что выбрал это место. А оказалось — он просто не умел нигде больше. Снаружи был мир, в котором он не мог жить. Внутри — комната с книгами, в которой он мог. И больше нигде, ничего.

Эйвинд взял карандаш. Жёлтый, обкусанный. Закрыл глаза.

Поднял его в уме. Подержал.

И отпустил — сам, решением, как учили.

Карандаш погас. Стало тихо.

Но тишина уже не грела. Тишина теперь умела гаснуть по его приказу, и от этого библиотека вокруг словно усохла, сделалась меньше, тесней. Стены, которых он раньше не видел за теплом, проступили и встали близко. Он научился маленькому, и маленькое отняло у него большое: он больше не мог не знать, где находится.

В очень тихой, очень тёплой камере. Один. И до утра ещё далеко.

А потом он поднял голову.

Он не услышал ничего и не увидел ничего. Просто что-то в нём — та самая новая мышца, которой он не умел ещё ни управлять, ни доверять, — повернулось само, как поворачивается спящий на чужой взгляд. За высокими тёмными окнами читального зала стоял город, ровный, гудящий, погасший. Пустая улица под фонарём. Никого.

И всё же Эйвинд сидел, не двигаясь, и не мог отделаться от чувства, что улица смотрит на него в ответ. Что где-то там, за стеклом, в погасшем мире, есть ещё кто-то незаснувший, и этот кто-то развернулся в его сторону — не глазами, нечем тут смотреть глазами, — а тем же самым, чем сейчас невольно потянулся к окну он сам. Как тянется тепло к теплу в холодной комнате. Как находит огонь огонь.

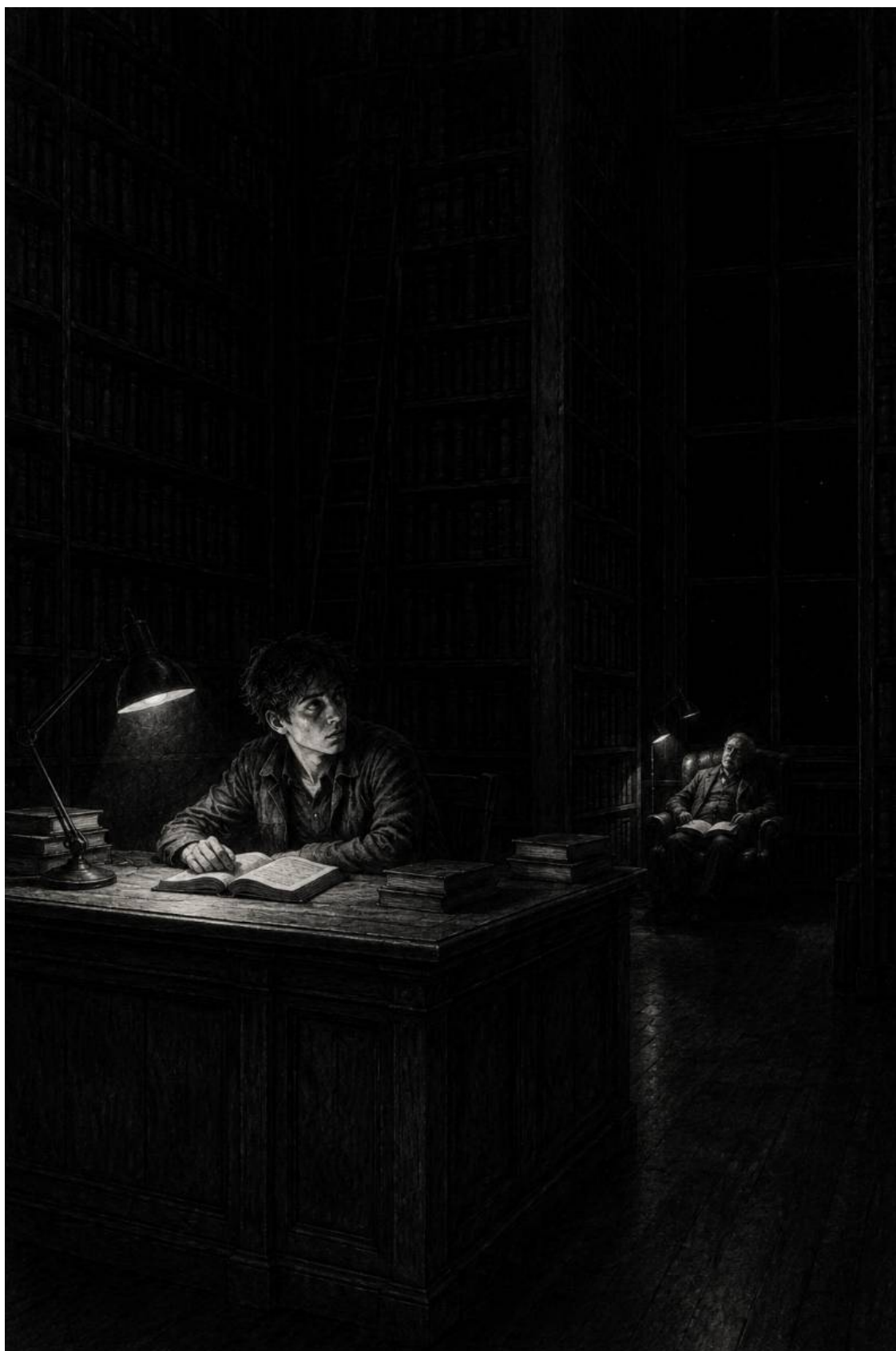
«Ты начал светиться, мальчик. В мире, где все погасли, это видно издалека».

Эйвинд встал, подошёл к окну. Прижал ладонь к холодному стеклу. За стеклом по-прежнему не было никого — пустая улица, мёртвый фонарь, и дальше тьма, в которой гас город. Он смотрел долго, до рези, пока новая мышца не устала и чувство не растаяло, оставив только привычную, знакомую тревогу, на которую он за свою жизнь насмотрелся вдоволь и научился не верить.

Показалось, сказал он себе. Недосып. Третьи сутки. Мало ли что мерещится голове, которую не выключали столько ночей.

Он почти поверил. Он умел не верить себе — это он умел лучше всего, этому его выучили крепче любого Сверре, ещё в те годы, когда он считал себя сломанным. Не верить себе было старой, надёжной привычкой.

Беда в том, что теперь он был прав. А привычка осталась прежней.



В углу, под зелёной лампой, спал над книгой старик, который своё отслушал и забыл. Эйвинд вернулся к стойке, сел и до утра не закрывал больше глаз — не от воды на этот раз,

не от карандаша. Просто ему расхотелось смотреть в темноту с закрытыми глазами, когда есть подозрение, что темнота смотрит обратно.

ГЛАВА 3

Анахорет

Шли пешком. Сверре не объяснил куда, а Эйвинд не спросил — за неделю он успел понять, что вопросы старик отмеряет, как лекарство, и торопить дозу бесполезно.

Неделя эта была странная. Днём Эйвинд спал урывками, выучившись наконец гасить карандаш и всё, что выросло из карандаша, — мелкое, глупое, отпускаемое. Ночами работал в библиотеке и тренировал хватку и разжим, хватку и разжим, пока это не стало почти таким же привычным, как счёт затылков когда-то. Старик приходил, читал под зелёной лампой, засыпал. Город гудел. Снаружи ничего не менялось. Менялось только внутри, и менялось быстро — слишком быстро, как и обещал Сверре.

— Ты опять торопишься, — сказал Сверре, не оборачиваясь. Они переходили мост; внизу стояла мёртвая вода канала, и в ней отражался погасший город. — Я по шагам слышу. Ты идёшь так, будто впереди тебя ждёт что-то, к чему надо успеть.

— А разве нет?

— Нет. Впереди тебя ждёт то, что ждало тысячу лет. Оно подождёт ещё час. — Сверре приволакивал ногу, и оттого шёл медленно, и Эйвинду приходилось гасить шаг под него, и это раздражало, и он стыдился раздражения. — Запомни первое правило места, куда мы идём. Там не торопятся. Спешка — это голод, а голод сжигает. Они учат не спешить раньше, чем учат чему-либо ещё.

— А если я уже умею то, чему они учат год?

Сверре остановился. Посмотрел на него своим одним глазом.

— Тогда ты в большой беде, мальчик, — сказал он спокойно. — И они тебе нужнее, чем кому бы то ни было. Потому что уметь — это твоя половина дела. Их половина — не дать умению тебя убить. — Он пошёл дальше. — Идём. И, прошу тебя, там придержи язык. Ты не на экзамене. Тебя пришли показать, а не проверить.

— Показать? Кому?

— Тем, кто решит, стоишь ли ты их времени. А времени у них меньше, чем кажется. Гораздо меньше.

Место оказалось не замком, не башней, не подземельем — ничем из того, что Эйвинд, сам того не желая, успел навывдумывать по дороге. Обычный дом, каких в старых кварталах сотни: облупленный фасад, глухой двор, железная дверь без вывески. Сверре не стучал. Он постоял перед дверью, опустив голову, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, — и дверь открылась сама, изнутри, словно кто-то за ней услышал не звук, а мысль.

Внутри была тишина. Та самая, плотная, населённая, какую Эйвинд знал по библиотеке, — но гуще во много раз, такая густая, что он остановился на пороге, как останавливаются перед слишком холодной водой. Здесь думали. Не один человек, не два — здесь думали так, как нигде на его памяти не думали, и воздух от этого был тяжёлым, как перед грозой.

— Дыши, — сказал Сверре тихо. — Первый раз всех шатает. Это не магия. Это просто тишина без примеси. Ты такой не дышал ни разу.

Они прошли по коридору. За приоткрытыми дверями Эйвинд видел комнаты, и в комнатах сидели люди — поодиночке, по двое, — и ничего не делали. Просто сидели. Кто с книгой, кто с закрытыми глазами, кто глядя в стену. И от каждого шла та же тяжесть, что давила на грудь от самого порога. Эйвинд понял с холодком, что «ничего не делали» — обман зрения. Они работали. Все до одного. Работа их была невидима и оттого страшнее всякой видимой.

— Рядовые, — сказал Сверре, перехватив его взгляд. — Маги, если тебе нравится слово. Мне не очень. Каждый растит свою мышцу — кто память, кто счёт, кто внимание. Целые люди.

Платят понемногу, растут понемногу, до своего потолка и не дальше. Большинство так и живёт, тихо, до старости. — Он помолчал. — Это и есть «медленно и безопасно», которое тебе так не терпится перепрыгнуть.

Эйвинд смотрел на сидящих и чувствовал то, чего стыдился потом не раз. Ему было... тесно. Душно. Он смотрел на людей, годами растящих по одной мышце, и в нём поднималось нетерпение, почти злость: так долго, так осторожно, так мало — за целую жизнь. Он за неделю прошёл то, на что у иного из этих, наверное, ушли годы. Мысль была недобрая, и он отогнал её, как отгонял карандаш, — но она, в отличие от карандаша, отгоняться не желала.

В дальней комнате сидел человек, к которому Сверре подвёл его без слов.

Немолодой, но моложе Сверре. Сухой, аккуратный, с лицом приятным и совершенно пустым — не глупым, а именно пустым, будто за чертами никто не жил постоянно, а лишь заходил иногда. Он поднял на вошедших глаза, и Эйвинд вздрогнул: глаза были живые, внимательные, но смотрели они на Эйвинда так, словно уже знали его давным-давно, словно встречали много раз.

— А, — сказал человек. Голос мягкий, чуть удивлённый. — Это ты. Я тебя помню.

— Мы не знакомы, — сказал Эйвинд.

— Не знакомы. — Человек улыбнулся, и улыбка была печальная. — Но я помню тебя. Я помню очень многих, кого не встречал. В этом, видишь ли, моя беда. — Он повернулся к Сверре. — Тот самый? О котором ты говорил, что он держал образ на улице без узды?

— Тот самый, Хальвард.

Хальвард посмотрел на Эйвинда долгим взглядом, и в этом взгляде была не проверка — печаль. Так смотрят на молодого солдата перед боем, которого видели уже сто раз в ста других молодых, и все сто полегли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.